

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I</b> ГРАСС-ВЭЛЛИ . . . . .	11
<b>ЧАСТЬ II</b> НЬЮ-АЛЬМАДЕН . . . . .	93
<b>ЧАСТЬ III</b> САНТА-КРУЗ . . . . .	193
<b>ЧАСТЬ IV</b> ЛЕДВИЛЛ . . . . .	247
<b>ЧАСТЬ V</b> МИЧОАКАН . . . . .	381
<b>ЧАСТЬ VI</b> ПРИ ПИКОВОМ ИНТЕРЕСЕ . . . . .	433
<b>ЧАСТЬ VII</b> КАНЬОН . . . . .	455
<b>ЧАСТЬ VIII</b> НАГОРЬЕ . . . . .	557
<b>ЧАСТЬ IX</b> ЗОДИАК-КОТТЕДЖ . . . . .	665
От переводчика . . . . .	699

*Пейджу, моему сыну*

Я благодарен Дж.М. и ее сестре за позаимствованные мной материалы об их не столь далеких предках. Хотя я использовал многое из их жизни и характеров, я без колебаний переименовывал и персоны, и события ради литературных нужд. Это роман, в который включены избранные факты из их подлинной жизни.

Это ни в каком смысле не семейная история.

# ЧАСТЬ I ГРАСС-ВЭЛЛИ

## 1

Теперь, думаю, они от меня отстанут. Родман явно приезжал в надежде найти свидетельства моей немощи — хотя как, будь обитатель этого дома немощен, ему удалось бы организовать здесь ремонт, перевезти сюда свою библиотеку и переехать самому, не возбуждая подозрений у своего зоркого потомства? На этот вопрос Родману трудно было бы ответить. Я не без гордости думаю о том, как я все это устроил. И он уехал сегодня восвояси, не разжившись даже подобием того, что он называет фактами.

Так что нынешним вечером я могу тут посиживать, слушая шорох магнитофонной ленты, тихий, словно электрифицированное время, и назвать в микрофон место и дату как бы возврата и как бы начала: Зодиак-коттедж, Грасс-Вэлли, Калифорния, 12 апреля 1970 года.

Вот заметь, мог бы я сказать Родману, который ни в грош не ставит время: я зафиксировал было настоящий момент, и тут же настоящий момент двинулся вперед. То, что я зафиксировал, уже покрыто витками ленты. Я заявляю: *я емь*, но не успел договорить, как я уже *был*. Мы с Гераклитом, провозвестники потока, знаем, что поток состоит из частиц, которые имитируют и повторяют друг друга. И к тому же, нынешний или бывший, я — продукт накопления. Я — всё, чем когда-либо был, что бы ты и Лия ни думали на этот счет. Я во многом то, чем были мои родители и в особенности их родители: я унаследовал от них телосложение, цвет волос, мозги, кости (с этим, правда, не все ладно), а вдобавок предрассудки, культурные привычки,

принципы, предпочтения, моральные запреты и моральные погрешности, которые отстаиваю так, будто это личные свойства, а не семейные.

И даже места, особенно этот дом, где сам воздух насыщен прошлым. Мои предки так же поддерживают меня тут, как поддерживает дом старая глициния, растущая у его угла. Глядя на ее лианы, дважды, а то и трижды обвинившие постройку, думаешь — и, может быть, правильно думаешь, — что обрезать их, и дом рухнет.

Родман, как большинство социологов и как большая часть его поколения, родился без чувства истории. Для него это всего-навсего недоразвитая социология. Мир изменился, папа, говорит он мне. Прошрое ни о чем, лежащем у нас впереди, ничему полезному нас не научит. Может, учило когда-то — или так казалось. Но не теперь.

Возможно, он думает, что мои мозговые сосуды так же обызвествились, как шейный отдел моего позвоночника. Возможно, они с Лией обсуждают меня, лежа в постели. *Из ума выжил — отправиться туда одному... Как мы можем, разве только... беспомощен... скатится с крыльца в своем кресле, и кто его выручит? Подождет себя, когда сигару будет закуривать, и кто потушит?.. Чертов старый упрямый осел, индивидуалист... хуже ребенка. На тех, кто должен о нем заботиться, ему начхать... Дом его детства, видите ли. Бумаги, видите ли, он всегда хотел ими заняться... Весь, говорит, архив его бабушки, книги, воспоминания, рисунки, оттиски, сотни писем, которые дочка Огасты Хадсон прислала, когда Огаста умерла... Множество памяток, говорит, от его бабушки, кое-что от его отца, кое-что его собственное... Семейная хроника за сто лет. Ну ладно, пусть. Так отдать бы это добро в Историческое общество и получить солидный налоговый вычет. И он мог бы там с этим работать, что мешает? Зачем держать все это в старом просевшем доме на двенадцати акрах? И себя туда же засунуть. Эту землю неплохо можно было бы продать, если бы он согласился. Нет, понадо-*

*билось ехать туда и зарастать паутиной, как будто он персонаж какого-нибудь Фолкнера, туда, где некому за ним присмотреть.*

По-своему они хотят мне добра. Я их не виню, я только сопротивляюсь. Родман должен будет сообщить Лии, что я приспособил дом к своим нуждам и хорошо со всем справляюсь. Эд по моему поручению закрыл все наверху, кроме моей спальни, ванной и этого кабинета. Внизу мы пользуемся только кухней, библиотекой и верандой. Всюду прибрано, опрятно, полный порядок. Никаких ему фактов.

Предстоят, думаю, регулярные инспекции, участливые визиты, они будут ждать, пока я смертельно устану от своего индивидуализма. Ждать и приглядываться, искать признаки старческого слабоумия и усиливающихся болей — не исключаю даже, что искать с надеждой. В ожидании будут переступать мягко, говорить негромко, будут ласково потряхивать мешком с овсом, шептать и придвигаться все ближе, пока рука не сможет накинуть веревку на негнущуюся старческую выю и меня не поведут на этой веревке в Менло-Парк, на пастбище стариков, где такой хороший уход и где столько всего, чем можно заняться и чему можно порадоваться. А если упрусь, то решение в конце концов и за меня можно будет принять; допускаю, что его примет компьютер. С компьютером разве спорят? Родман набьет все свои факты на перфокарты, скормит их вычислительной машине, и она сообщит нам, что время пришло.

Как им втолковать, что я не просто убиваю время, дожидаясь конца своей медленной петрификации? Я жив и не инертен. Голова еще работает. Мне многое неясно, в том числе во мне самом, и я хочу посидеть и поразмыслить. Лучшей возможности и вообразить нельзя. Какая разница, что я не в состоянии повернуть голову? Я могу глядеть куда хочу, поворачивая свое инвалидное кресло, а глядеть я хочу назад. Что бы ни говорил Родман, это единственное поучительное направление взгляда.

После ампутации, все то долгое время, что я лежал и жалел самого себя, я все сильнее ощущал себя подобием птицы предгорий. Мне хотелось лететь вдоль Сьерра-Невады задом наперед и просто смотреть. Если нет больше смысла делать вид, что мне интересно, куда я направляюсь, можно обратить взор туда, где я был. И я не про Эллиен сейчас. Настолько личного, честно скажу, здесь нет. Тот Лайман Уорд, что женился на Эллиен Хэммонд, родил в этом браке Родмана Уорда, преподавал историю, написал кое-какие книги и научные труды о западном фронтире, претерпел кое-какие личные катастрофы, не исключено, что заслуженные, выжил в них с грехом пополам и теперь сидит и говорит сам с собой в микрофон, — он не настолько важен теперь уже. Мне хочется поместить его в систему отчета и сравнения. Роясь в бумагах, оставшихся от моего деда и особенно от бабки, я заглядываю в жизни, близкие к моей, в жизни, связанные с моей узам, которые я вижу, но не до конца понимаю. Мне хочется побыть какое-то время в их шкуре — главное, не в своей. По правде говоря, опуская взгляд на коленный изгиб своей левой ноги и на обрубок правой, я сознаю, что не назад хочу двигаться, а вниз. Я хочу вновь коснуться земли, от которой увечь меня отделило.

В уме я пишу письма в газеты. Уважаемая редакция, я современный человек и притом одноногий, и хочу сказать, что это почти одно и то же. Произошло отсечение, с прошлым покончено, семья разрушена, настоящее дрейфует в инвалидном кресле. Женщина, на которой я был женат, на двадцать шестом году брака выкрасилась в цвета шестидесятых. Моего сына, хотя отношения у нас теплые, мне так же трудно считать своим подлинным сыном, как если бы он дышал жабрами. Между поколениями не трещина, а пропасть. Кардинально изменились сами основы — и количественно, и качественно. То, что мы имеем сейчас, в 1970 году, уже нельзя назвать продолжением мира, где существовали мой дед и бабка; нынешний американ-

ский Запад имеет такое же отношение к Западу, в сотворении которого они участвовали, как море, поглотившее вулкан Санторин, к бывшему каменистому острову, поросшему оливами. Моя жена, прожив со мной четверть века, сделалась женщиной, которую я никогда не знал, мой сын исходит из своих собственных постулатов.

Моим деду и бабушке пришлось, пока они жили, покинуть один мир и войти в другой, а то и в несколько других поочередно; они творили новое из старого на манер кораллов, наращивающих свой риф. Я на их стороне. Я, как они, верую во Время, в жизнь хронологическую, а не экзистенциальную. Мы живем во времени и сквозь время, мы строим наши хижины из его руин — так, по крайней мере, было, — и мы не можем себе позволить всех этих ликвидаций.

И так далее. Письма сходят на нет, как сходит на нет разговор. Если бы я принялся втолковывать это Родману — мол, мои дед и бабушка жили, как по мне, органической жизнью, а мы, получается, гидропонной, что ли, — он саркастически поинтересовался бы, что я имею в виду. Надо, папа, четко определить термины. Как измерить органический остаток человека или поколения? Это всё голые метафоры. То, чего нельзя измерить, не существует.

Родман — великий измеритель. Да, перемены его интересуют, но только как процесс; и его интересуют ценности, но только как фактический материал. Люди X верят в одно, люди Y в другое, а десять лет назад люди Y верили в то, во что сейчас люди X, и наоборот. Высчитываем скорость изменения. Дальше, чем на десять лет, он в прошлое не углубляется.

Как и другие радикалы из Беркли<sup>1</sup>, он убежден, что постиндустриальный постхристианский мир исчерпал себя, изнашивая, ничего доброкачественного не унаследовал, что он не способен создать путем эволюции общественные

<sup>1</sup> Калифорнийский университет в Беркли был в 1960-е и 1970-е ареной многочисленных студенческих протестов — в частности, против войны во Вьетнаме. (*Зесь и далее — прим. перев.*)

и политические институты, формы межличностных отношений, правила поведения, моральные принципы и этические системы (если они вообще нужны), достойные будущего. Общество сковано параличом, и ему необходим освобождающий толчок. Он, Родман Уорд, культурный герой, рожденный, как Афина, в доспехах и всеоружии из этой умученной историей головы, будет счастлив предоставить рабочую программу, а может быть, и манифесты, и ультиматумы, которые спасут нас и принесут подлинно свободную жизнь. И в семейных делах то же самое. Семья и брак в привычном нам виде уходят в прошлое. Родман — адепт Маргарет Мид<sup>1</sup> через посредство Пола Гудмана<sup>2</sup>. Он сидит с участниками сидячих протестов, он готов реформировать нас хоть силком, он изжарит яичницу, и плевать на разбитые яйца. Как командующий во Вьетнаме, он с сожалением в сердце разрушит нашу деревню, чтобы спасти ее.

По правде говоря, мой сын, несмотря на свое природное добродушие, ум, образованность и бульдозерную энергию, неотесан, как деревенщина. Даже в дверь звонит безапелляционно. У кого-нибудь другого палец осведомится, есть ли кто дома, и подождет результата. Его же палец нет, он жмет на звонок, через десять секунд жмет снова, а еще через секунду вдавливая кнопку и продолжает на нее давить. Так он позвал меня к двери сегодня около полудня.

Я отреагировал медленно, потому что угадал, кто это: палец его выдал. Я ждал его появления, ждал и боялся. Кроме того, я сидел и мирно работал, досадно было прекращать.

Я люблю этот старый бабушкин кабинет. По утрам его наполняет солнце, и бытовые приспособления и украшения, которые в Америке так быстро устаревают, тут приобрели и сохранили уютную, неизменную поношенность,

1 Маргарет Мид (1901–1978) — американский антрополог. Выступала в защиту сексуальной свободы, была популярна среди “новых левых”.

2 Пол Гудман (1911–1972) — американский писатель, пацифист, идеолог “новых левых” и контркультуры.

и ее не слишком нарушили магнитофон, настольная лампа дневного света и прочее, что мне пришлось добавить. Вкатив свое кресло в вырез длинного письменного стола, я сижу за ним, с трех сторон окруженный книгами и бумагами. У моего локтя стопка желтых блокнотов, стакан с карандашами и ручками и микрофон, на стене передо мной то, что висело на ней у бабушки все мое детство: широкий кожаный ремень, кавалерийский револьвер времен Гражданской войны с деревянной рукояткой, длинный охотничий нож и мексиканские шпоры с четырехдюймовыми репейками. Я обнаружил все это в ящике и тут же вернул на старое место.

Господь знает, почему она повесила эти предметы так, чтобы видеть их всякий раз, как поднимет голову от стола. Безусловно, они не в ее стиле. Ее стиль — дрожащие тени на этой стене от кистей глицинии под утренним солнцем. Она повесила их как напоминание о своей первой встрече с Западом? О доме под вечнозелеными дубами в Нью-Альмадене, куда она приехала молодой женой в 1876 году? Из ее писем я знаю, что у дедушки, когда он ее туда привез, они висели в проеме между столовой и жилой комнатой, и она оставила их там, почувствовав, что они кое-что для него значат. Револьвер его брат отнял у пленного конфедерата, нож носил он сам все свои ранние годы в Калифорнии, шпоры дал ему мексиканец, погонщик мулов на серебряном руднике Комсток-Лоуд. Но зачем она вывесила его грубые, чисто мужские трофеи тут, в Грасс-Вэлли, спустя полжизни после Нью-Альмадена? Как напоминание себе о чем-то, что с ней произошло? Похоже, что так.

Как бы то ни было, я сидел тут незадолго до полудня, не испытывая ни душевных, ни, насколько возможно, телесных тягот. Утро приносит свои блага: подъем и завтрак — полезная разминка, с этим я справляюсь без Ады, воздействие кофе и первой за день таблетки аспирина, солнечные лучи, греющие шею и левый бок.

И тут этот палец на кнопке звонка.

Я оттолкнулся от стола, отчалил от залитых солнцем бумаг и повернул свое кресло. Два года практики — и все равно я не вполне привык к двойственному ощущению, которым сопровождается перемещение в инвалидном кресле. Сверху я незыблем как монумент; внизу — гладкая текучесть. Я передвигаюсь, как пианино на тележке. Кресло у меня электрическое, питание от батареи, физического усилия поэтому нет, и, поскольку голову я не могу ни поднять, ни опустить, ни повернуть влево или вправо, предметы сами поворачиваются вокруг меня, скользят через поле зрения от окраины к центру и дальше, к противоположной окраине. Стены медленно вращаются — вот передо мной створчатые окна, вот диванчик под окном, вот кисти глицинии снаружи; затем другая стена с фотографиями бабушки и дедушки, их троих детей, с портретом младшей, Агнес, — на этом рисунке с размывкой ей три года, ребенок — сплошные глаза; вращение продолжается, вот письма в рамках от Уиттьера<sup>1</sup>, Лонгфелло, Марка Твена, Киплинга, Хауэллса<sup>2</sup>, президента Гровера Кливленда (в рамочки их я поместил, а не она); наконец поворот замедляется, и я смотрю на дверь с полосой солнечного света вдоль потертых коричневых досок. Когда вкатываюсь в верхний коридор, мой гость, нажимая на кнопку одной рукой, уже стучит в дверь другой.

Хотя за десять дней, прожитых здесь, я немного наловчился, мне не сразу удалось занять нужное положение над скобой лифта, фиксирующей мое кресло, и меня подмывало заорать на Родмана: перестань бога ради, отпусти кнопку, сейчас открою. Он подействовал мне на нервы. Я испугался, что сделаю что-нибудь не так и внизу окажется мешанина искореженного металла и сломанных костей.

Зафиксировавшись, я щелкнул переключателем на стенке, и диковинное падающее скольжение лифта овладело

1 Джон Гринлиф Уиттьер (1807–1892) — американский поэт и abolitionист.

2 Уильям Дин Хауэллс (1837–1920) — американский писатель и литературный критик.

мною, лишило веса, опрокинуло через край; как всегда, па-  
нически засосало под ложечкой. Я погрузился, как ныряль-  
щик, пол сомкнулся над моей головой. Стена первого эта-  
жа, к которой мое лицо было жестко обращено, неспешно  
разматывалась сверху донизу, являя взору на полпути ре-  
продукцию прерафаэлитской картины: мальчишки зачаро-  
ванно слушают морского волка<sup>1</sup>. Моя бабушка могла на-  
писать эту картину сама, настолько она в ее духе: порыв,  
рождающийся из повседневного реализма. Я поравнялся  
с репродукцией, и это значило, что мое кресло стало вид-  
но от входной двери, поэтому звон и стук прекратились.

Кресло достигло дна, над которым, как на глубине  
в шестьдесят футов, царит зеленый мутный полумрак: ста-  
рая глициния давно задалась целью лишить света все ниж-  
ние окна. Я поддел скобу концом костыля и ощупью вер-  
нул костыль в держатель на боку кресла — очень аккурат-  
но, поскольку знал, что Родман смотрит на меня, и хотел  
внушить ему, что все у меня тут надежно, я справляюсь,  
несчастный случай исключается. Прикосновение к кнопке  
мотора, ладонь на руле, и я снова начал вращаться. Стена  
поплыла, и вот наконец я вижу в рамке, за маленьким двер-  
ным стеклом, лицо Родмана — так в иллюминатор водо-  
лазного шлема может уставиться рыба. У этой бородатой  
рыбы кривая улыбка, искаженная facetsированным стек-  
лом, и она энергично машет плавником.

Вот какие результаты, в основном отрицательные с его точ-  
ки зрения, принес визит Родмана:

(1) Он не убедил меня (и, отдам ему должное, не очень-то  
убеждал) вернуться и поселиться у них или же начать дого-  
вариваться о переезде в интернат в Менло-Парке.

(2) Он не убедил меня перестать разъезжать в одиноч-  
ку в инвалидном кресле. Разумеется, я стукнулся культурой,

1 Имеется в виду “Детство Рэли” английского художника Джона Эверетта  
Милле (1829–1896).

показывая ему, насколько я мобилен и как умно переделал все лестницы в пандусы. Понял ли он по моему лицу, как мне больно, когда я сидел перед ним и улыбался, улыбался, желая схватиться обеими руками за этот несчастный дергающийся костно-мясной обрубок, и раскачиваться взад-вперед, и скрежетать зубами, и выть? Если даже и понял, что с того? Когда я езжу в этом кресле не напоказ, когда не демонстрирую сомневающимся свое умение, я способен в нем добраться почти во все места, в какие он может прийти ногами, и не с бóльшим риском.

(3) Я не намерен устанавливать на своем кресле переговорное устройство, чтобы, если попаду в беду, вызвать полицейский патруль. Родман все это продумал и настаивал. Но чрезвычайная ситуация у меня бывает лишь вот какая: если я далеко от уборной и боль мешает мне подняться с кресла и сделать свои дела стоя, то из мочеприемника, который называют “другом полицейского”, может вылиться немного содержимого. Мы с ребятами из патруля могли бы приятно провести время, обмениваясь байками о конфузах, которые в их случае происходили во время долгих дежурств, но вряд ли хоть один полицейский всерьез назовет такую ситуацию чрезвычайной.

(4) Меня не беспокоит опасность “стать таким же, как мой папа”. Они явно боятся, что это семейное, и в других обстоятельствах опасение Родмана меня бы обрадовало как дань уважения к истории с его стороны. Да, у моего отца была странная и несчастливая жизнь, да, он жил здесь и жил после того, как рудник закрылся, и в конце концов его рассудок до того помутился, что Аде и Эду Хоксам пришлось смотреть за ним как за капризным и безответственным ребенком. Родман чуть ли не спрашивает: “Что если я приеду к тебе и окажется, что ты разговариваешь сам с собой, как мой дедушка?” Я мог бы ответить, что уже все время разговариваю сам с собой через этот микрофон и мое собственное общество мне, в общем, нравится. Он, как и я, прекрасно понимает, что,

когда я совсем сойду с катушек, он сможет законным образом меня отсюда забрать, как мне пришлось забрать моего отца.

(5) Я не намерен просить Эда и Аду поселиться тут на первом этаже. Они всю жизнь прожили в домике ниже по склону, и они достаточно близко, ближе мне не надо.

(6) Я не намерен прекращать заниматься бабушкиными бумагами и не намерен писать книгу “о ком-нибудь интересном”. Родман делает вид, будто опасается, что из ложной чувствительности я пушу на ветер свои, как он льстиво выражается, недюжинные дарования (он невысоко ставит историю, но был трогательно горд за меня, когда я получил премию Банкрофта<sup>1</sup>) ради малоинтересной персоны. Его понятия о том, какие персоны заслуживают внимания, ошеломляюще вульгарны. Лишенный чувства истории, он полагает, что интерес историка должен вызывать “колорит”. Как насчет какой-нибудь колоритной личности с Северных рудников, о которых я уже так много знаю? Взять, к примеру, Лолу Монтез, эту бешеную девчонку из ирландских торфяников, которая побывала любовницей у половины европейских знаменитостей, включая Ференца Листа и Дюма, то ли отца, то ли сына, то ли обоих, а затем сошлась с королем Людвигом I Баварским, сделавшим ее графиней фон Ландсфельд. А оттуда в 1856 году в Сан-Франциско, где развлекала золотодобытчиков и авантюристов “танцем паука” (*Хо, Лола, хо!*), а оттуда в Грасс-Вэлли, где два года жила с ручным медведем, который вряд ли сильно выигрывал в сравнении с Людвигом.

В таком свете видит историю Родман. Всякий третьеразрядный исследователь прошлого у нас на Западе промывал в поисках золота жалкий Лолин песок.

1 Премия Банкрофта — ежегодная премия Колумбийского университета за книги по дипломатии и американской истории. Учреждена в честь Джорджа Банкрофта (1800–1891), американского историка и политического деятеля.